

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА

ПОКА ГОВОРЯТ ПУШКИ, МУЗЫ ПЕРЕВЯЗЫВАЮТ РАНЕННЫХ

Вчера исполнилось 95 лет Тамаре Владимировне Ивановой, известной переводчице произведений Эмиля Золя, Романа Роллана, Эльзы Триоле, Натали Саррот, многих других современных французских писателей. Вдова писателя Всеволода Иванова, она проделала огромную работу по подготовке и опубликованию его литературного наследия, в том числе произведений, десятилетиями запрещавшихся советской цензурой. Книга воспоминаний Т. В. Ивановой «Мои современники, какими я их знала», рассказывающая о ее встречах с Максимом Горьким, Борисом Пастернаком, Исааком Бабелем и другими писателями, получила читательское признание. Редакция сердечно поздравляет Тamarу Владимировну с юбилеем и предлагает вниманию читателей отрывок из новой неопубликованной книги ее воспоминаний.

Писательский дом — из самых высоких в этом уголке Москвы. На его крыше дежурили жильцы. Ничто не закрывало обзор, и стоявших на крыше порожала пустота. Затемнение. Бодрый Борис Пастернак, не обращая внимания на опасность, говорил об искусстве, о жизни, шутил и сбрасывал лопатой зажигательные бомбы, сыпавшиеся на железную крышу. Смелый и ловкий Иосиф Уткин легко передвигался, не боясь высоты.

Запись в дневнике Всеволода Иванова: «Сначала на юге прожектора осветили облака. Затем посыпались ракеты — осветили дом, как стол. Рядом с электростанцией треснуло, и поднялось пламя. Самолеты — серебряные, словно излучили освещенные, — бежали в лучах прожектора, словно трещины в раме стекла. Показались пожарница — сначала рядом, затем на востоке, а вскоре запылала на западе. Загорелась какой-то склад неподалеку от Дома Правительства...»

...Зарево на западе разгоралось. Ощущение было странное. Странно не было, ибо умереть я не возражала, но тщательное любопытство — смерти? — влекло меня на крышу. Падали ракеты. Самолеты, казалось, летели необычайно медленно, а зенитки плохо стреляли. Но все это, конечно, было не так!

Шла война. Всеволод записывал в дневнике: «На улицах появились узенькие белые полоски: это плакаты. Ходят женщины с синими носилками, зелеными одеялами и санитарными сумками. Много людей с противогазами на широкой ленте. Барышни даже щеголяют этим. На Рождество, из церкви, выбрасывают архив. Ветер разносит тщательно приготовленные бумаги. Вот — война. Так нужно, пожалуй, и начинать фильм. Когда пишешь от привычки, что ли, на душе спокойнее. А как лягу — как займет — заносит сердце и все думаешь о детях. Куда их девать? Где их спрятать от бомб? Сам я решительно на все готов. Видно, для меня пришел такой возраст, когда уже о себе не думаешь...»

25 июня. Всеволод записал: «Позвонил Соловейчик из «Красной Звезды», попросил статью, а затем сказал: «Вас не забрали еще?». Я сказал, что нет. Тогда он сказал: «Может быть, разрешите Вас взять?». Я сказал, что с удовольствием. В 12 часов 45 минут 25 июня я стал военным,

причем корреспондентом «Красной Звезды».

27 июня... «Был у Надежды Алексеевны (Пешковой). Всюду шью мешки, делают газубежища. Появились на заборах цветные плакаты. Никто не срывает. Вечером — Войтинская звонит, говорит, что я для «Известий» — мобилизован. А я говорю: «А как же «Красная Звезда»? Она растерялась. Очень странная мобилизация в два места».

В первые месяцы войны Всеволод был переполнен деятельностью. Писал статьи в два места и более. Рвался на фронт, но его не пускали.

Может ли слово помочь в реальной борьбе с врагом? Нужна ли во время войны литература? Искусство военных дней высоко назначению — служебно. Пройдут годы, и только историк будет с интересом перелистывать киньки газет военных лет, брошюры с патристическими очерками, на скорую руку написанные рассказы и повести.

Перефразируя старую поговорку, скажем: пока говорят пушки, музы подносят снаряды и перевязывают раненых.

В годы гражданской войны книги давали хотя бы тепло. А теперь? Книги плохо горят и плохо согреваются. Дают ли что-нибудь душе? Дневниковая запись запечатлела эпизод, когда Всеволод в числе многих других писателей был вывезен в Кузбашев эшелон Информбюро:

...«Когда мне нужно было уезжать из Москвы, в эвакуацию, и пришел за мной Е. Петров, страшно серьезный, в шинели и с пистолетом, я вошел в кабинет, посмотрел на полки... и не взял ни одной книги».

Война раскидала всех по разным городам. Мы оказались в Ташкенте, где срочно доснивался «Пархоменко». Жили там очень трудно. Всеволод болел, но принимал участие в работе над фильмом. Я работала председателем городской комиссии помощи эвакуированным детям (в основном потерявшим родителей).

Постепенно по почте стали разыскивать друзей: И. Груздева в Ленинграде, О. Форш в Свердловске...

Борис Леонидович Пастернак писал нам из Чистополя:

«Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод! Удивительно, сколько времени лишило себя удовольствия написать Вам. Делал я это ради работы, и это стоило мне большой выдержки. Каждый раз, как тут

являлось что-нибудь новое, мне всегда хотелось записать это для Вас, и попутно и для себя занести на память.

Потом, когда сложилась наша правленческая пятёрка, мне хотелось рассказать Вам, и в особенности Всеволоду, о наших попытках заговорить по-другому, о новом дуге большой гордости и независимости, пока еще зачаточных, которые нас пятёрку объединили как по уговору.

Я думаю, если не все мы, то двое-трое из нас безличьем и бессловесностью последних лет растались безвозвратно. Все очень постарели и похудели, но нравственная новинка, о которой я говорю, празднично живет в нас...

Вот выдержка из другого письма Бориса Леонидовича: «...Мне хочется сообщить Вам одну радость и посоветоваться с Вами и Всеволодом насчет одного дела.

Леонов прочел нам новую замечательную пьесу, неподдельную и захватывающую почти на всем протяжении, кроме обычного и немного казенного конца...»

Между прочим, после чтения, из отчета Живова в «Лит. и Искусств.» (кто-то принес с собой газету) мы узнали о толстовском Грозном*. Это немного отравило радость, доставленную Леоновым. Все повесили головы, в каком-то отношении лично задетые. Была надежда, что за суматохой передвижений он этого не успеет сделать. Слишком оголена символика одинокого звучащих и так резко противопоставленных Толстых и Иванов, и Курбских. Итак, амфибический царствования терпел человечество в разработке истории, и должна была прийти революция со своим стилем вальса и своим Толстым и своим возмездием бесчеловечности. И Шибанов нуждался в переделке! Но это у Вас все рядом. Вы, наверно, другого мнения, и Всеволод напишет, что я ошибаюсь. Я же нахожу это поразительным, как поразительны и Эренбург, и Маршак, и не перестаю удивляться.

Мне представляется неясной и недоступной эта слепая механическая однонаправленность при сжатии и разжатии, как в машинках для стрижки, это таинственное расположение резак, которое толкает вперед рычажки и захватывает, независимо от того, говорят ли наблюдателя за или против, и окружены ли вы светом или тьмой. Эта неспособность осязаться на себя и свое! Или это гениальные бессмертные комиксы, и мы не умеем прочесть их эзопской иронии и окажемся в дураках, принимая все за чистую монету?..»

* Речь идет о первой части драматической дилогии А. Н. Толстого «Орел и Орлица» (1941—1943 гг.).

Тамара и Всеволод Ивановы. 1960 год.



Война выявила необходимость изменения атмосферы в искусстве, поляризовала убеждения.

Летом сорок третьего года Всеволод поехал на Орловско-Курскую дугу. Уезжали большой группой — Серафимович, Федин, Пастернак, Симонов, Серова, Р. Азарх, Березовский. Набились в «додж» до отказа. Серафимовича посадили рядом с шофером, а Всеволода приютил около него — на крыле.

У Всеволода есть такая запись:

«Считается, что Борис Пастернак пишет стихи очень сложно, а речи говорит того сложней. По приезде в армию генерала Горбатова командование пригласило писателей вечером, как говорится в таких случаях, «на скромный ужин».

Ужин действительно был очень скромный: картошка, немного ветчины, по стакану водки и, конечно, чай.

Начались речи. Говорили писатели, признаваясь, довольно скучно, так что было за них немного стыдно. Но вот вскочил Пастернак.

Разумеется, многие из нас испытали смущение и недоумение. Генералы у нас, конечно, ученые люди, читали мно-

го, но все-таки и им понять его будет трудно.

Пастернак быстро поворачивался к собеседникам, широко раскрыв глаза, водил руками, губы его дрожали. Он говорил ярко, патристично, возвышенно и — с юмором. И казалось, что и в стихах его, — как и в его речи, — нет никакой сложности, все легко, оптимистично, поэтично, убедительно.

Офицеры и генералы, бледные, растрепанные, слушали его в глубоком молчании. Они поняли Пастернака, быть может лучше, чем всех нас. Талант, по-видимому, всегда понятен».

Появление писателей, естественно, вызвало интерес в армии. Лев Славин вспоминает:

«Мы жили трудной фронтовой жизнью и зачастую от бойцов отличались только тем, что сражались не автоматом, а пером. А случилось, и автоматом».

И вот в этих наших огрубевших буднях появилось явление из забытой мирной жизни: ухоженный, благоухающий человек в белоснежной рубашке с галстуком, в добротном демисезонном пальто и в фетровой, со вкусом заломленной шляпе. Все в нем было мирное, гражданское,

даже орден, поблескивавший в петлице.

...Поминутная проверка документов надоела Всеволоду Иванову. Иногда, не доверяя документам, его вели в штаб армии для установления личности. В конце концов он попросил, чтобы его перевели в военную форму.

Но так как Всеволод Иванов не состоял, в отличие от нас, в кадрах армии, то одели его не очень тщательно. Особенно плохо обстояло дело с головным убором. Для большой головы Всеволода Вячеславовича не нашлось подходящей фуражки. И она как-то сразу села блином на самой макушке. В сочетании с очками это производило незабываемое впечатление.

К тому же он не носил погона. Но на поясе у него висел подсумок, как если бы он только что вылез из окопа. Мало кто знал, что в этом подсумке не патроны, а сигары...

...Я сделался гидом Всеволода Иванова и провел его через толпу фронта. Мы начали со штабного городка, где маршал с легендарным именем, пленный обаянием Всеволода Вячеславовича, долго не отпускал его. Побывали мы и в разведке... Спускался все ниже и ниже

же, не раз попадали мы в довольно горячие места. Всеволод Иванов держал себя там с хладнокровием старого охотника. Он был хорошим спутником в таких поездках. Он излучал какое-то спокойное неторопливое мужество. Мне нравился его юмор, его товарищеская верность, смелость его мысли, самое лицо его с этим монгольским прищуром умных глаз. Я находил очарование даже в его прищепывании и понимал Плутарха, который, рисуя портрет Алкивиада, даже недостатки в его произношении считал обаятельными».

Всеволод был до крайности штатским человеком. Как всегда встречалось много курьезного. Например, Всеволод с армией его друга генерала Цветаева поехал на встречу с союзниками на Эльбе. Восторг, объятия, братание. Со Всеволодовой гимнастерки в один миг оборвали все пуговицы — на сувениры. Пуговиц больше нет. Что еще взять на память? И вдруг видят — у Всеволода прикручен к гимнастерке орден Трудового Красного Знамени, единственная правительственная награда, полученная им в жизни, когда награждали перед войной большую группу писателей.

Какой-то американец тянется к ордену, знаками объясняет, что хотел бы его получить, и предлагает на обмен какой-то значок. Всеволод решил отшутиться (просто отказать — союзники обидятся).

Через переводчика Всеволод сказал, что согласен орден отдать, но только взамен хочет получить Медаль Чести Конгресса (очень редкая американская награда). Естественно, ни у кого такой медали не оказалось. Но присутствовавшие засмеялись и были очень довольны.

Кто мог тогда знать, что пройдет всего несколько месяцев и дружеские чувства будут забыты, отношения между Россией и Америкой охладели. Всеволод вскоре убедился в этом. Он писал где-то, имея в виду свое поколение: «И вообще мы учились истории, так сказать, на собственной шкуре».

Как это ни парадоксально, но именно во время войны Всеволод приступает к работе над циклом фантастических рассказов.

Значит, писатель решил для себя: такая литература необходима в данный момент. Но ведь и Зошенко стал печатать книгу «Перед восходом солнца» во время войны.

Неактуальная литература...

Хотя социальный заказ и требовал от писателей книг «к случаю», Всеволод никогда не мог этому подчиниться.

Но и время догоняет книгу. Долгие размышления и недавние впечатления явились основой посылкой романа «Эдеская святая».

Вечная тема: поэт и царь — поэт и власть. Роман был задуман давно, но закончен после трагических событий лета 1946 года.

Тем летом Всеволод работал на балконе второго этажа одного из коттеджей Дома творчества в Дубултах на Рижском взморье.

Балкон соседствовал с террасой, где забором был расположен детский сад.

Многие писатели с удивлением спрашивали Всеволода, как может он писать, когда к нему доносится столько гомона, писка и визга, на что Всеволод отвечал, что этот писк для него не помеха, а только удовольствие, все равно что пение птиц. Это же дети играют!

Надо сказать, что такое отношение было результатом возраста и мудрости. В молодые годы мне приходилось тщательно оберегать его от любого, малейшего шума.

Писал он два месяца. Напряженно. Неотрывно.

В романе этом, пусть место действия и находится в Багдаде X века, можно усмотреть много автобиографического.

Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» заставило его за работой. И произвело шоковое впечатление.

Уже потом, через много лет, в своих записках Константин Симонов утверждал, что Сталину надо было уничтожить общественную эйфорию, связанную с победоносной войной и процветавшую на социальную жизнь.

Постановление воспринималось как пощечина.

Профессиональным литераторам пытались объяснить, что превосходный русский писатель Зошенко всю жизнь сочинял бездарные пасквили, а Ахматова писала не имеющие эстетической ценности вирши. Ложь не рядилась ни в какие одежды. Она была открытой и наглой. Шла проверка на лояльность, на безгласность. Кто возразит, осмелится поднять голос — выступит собственным обвинителем, подпишет себе приговор.

Всеволод очень болезненно переживал последствия доклада Жданова, страдая за Зошенко, своего давнего друга.

Михаил Михайлович был честнейшим, благороднейшим человеком. Попаив в тяжелое положение, он позже, приезжая к нам в Москву, говорил: «Мне не на кого обижаться. Придется испытать свою чашу». Тогда, в 1946 году, Всеволод заканчивал свой роман такой сценой:

«Незнакомый плечистый человек раскрывал мешок, где при свете луны синева поблескивала крупная соль. За поясом его Махмуд ухватил кривой нож, и он, зная свою работу, узнал нож, который он преподнес визирю. Он не удивился. Визирь велел дарить ножи, кому захочет. Но Махмуд желал узнать, зачем здесь этот плечистый, с широким, как канава, ртом. И Махмуд спросил:

— Кто это?

Плечистый человек сказал, вынимая нож:

— Подойди сюда и наклони голову. Снежи».

Тамара ИВАНОВА.